СЦЕНАРИЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ГОСТИНОЙ (ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР) «ГОЛОСА СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА»

Мосунова Елена Евгеньевна,
учитель русского языка и литературы
МАОУ «Средняя школа № 1»

Тростьянская Ольга Владимировна,
учитель истории и обществознания
МАОУ «Средняя школа № 1»

Цель: познакомить учащихся с поэтами и писателями «серебряного века» в русской истории, привитие чувства прекрасного, воспитание гордости за родную культуру.

Задачи:

– развитие духовно-нравственных ценностей;

– привитие потребности у учащихся в чтении литературы;

– развитие познавательного интереса.

Оборудование: экран, проектор, декорации, музыкальное сопровождение.

Ход постановки

На сцене стол с зажжённой лампой, звучит тихая музыка, прожектор освещает одинокую фигуру, сидящую за столом.

Одоевцева: Мои воспоминания – это моё желание донести до вас дыхание и чувства тех, кто был мне так дорог и с кем, по воле случая, мне выпало счастье быть знакомой. Теперь, оглядываясь назад, я иногда спрашиваю себя, не ошибаюсь, не преувеличиваю ли я? Были ли они – те, о ком я собираюсь вам рассказать, – действительно так очаровательны и блестящи? Не казались ли они мне такими «в те дни, когда мне были новы все ощущения бытия», оттого, что поэтов я тогда считала полубогами?

Но нет. Я уверена, что не ошибаюсь. Я стараюсь к ним относиться критически и не скрываю их теневых сторон.

Но стоит мне закрыть глаза и представить себе Гумилёва, Блока, Мандельштама, и я сейчас же вижу их лица, окруженные сияньем, как лики святых на иконах. Я согласна с Габриэлем Марселем, что «любовь дарует бессмертие» и что, произнося: «Я тебя люблю», – тем самым утверждаешь: «Ты никогда не умрешь».

Не умрешь, пока я, любящий тебя, буду жить и помнить тебя.

Я делюсь с вами своими воспоминаниями с тайной надеждой, что вы полюбите как живых тех, о ком я вспоминаю. Полюбите их, воскресите их в своей памяти и сердцах. И тем самым подарите им бессмертие.

Одоевцева: Я уверена, что Ахматова была главной любовью Гумилёва и что он до самой своей смерти – несмотря на свои многочисленные увлечения – не разлюбил её. Уверенность моя основана на его рассказах о

ней и, главное, на том, как он говорил о ней, не только его голос. Но даже выражение его лица менялось. Когда он произносил её имя.

Гумилёв: Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай, далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ему грациозная стройность и нега дана,
А шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.

Вдали он подобен цветным парусам корабля
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.

Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву и страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.

Ахматова: Не будем пить из одного стакана
Ни воду мы, ни сладкое вино,
Не поцелуемся мы утром рано,
А ввечеру не поглядим в окно.
Ты дышишь солнцем, я дышу луною,
Но живы мы любовию одною.
Со мной всегда мой верный, нежный друг,
С тобой твоя веселая подруга.
Но мне понятен серых глаз испуг,
И ты виновник моего недуга.
Коротких мы не учащаем встреч.
Так наш покой нам суждено беречь.
Лишь голос твой поет в моих стихах,
В твоих стихах моё дыханье веет.
О, есть костер, которого не смеет
Коснуться ни забвение, ни страх,
И если б знал ты, до чего мне любы
Твои сухие, розовые губы!

Одоевцева: Я только один-единственный раз в моей жизни по-настоящему говорила с Ахматовой. Произошло это неожиданно, на вечере в Доме искусств. Я в тот вечер выступала в последний раз перед отъездом за границу. Волей случая, Анна Андреевна и композитор Артур Лурье провожали меня в тот вечер домой.

Ахматова: Нет, я никогда не боялась. Я возвращалась одна домой по совершенно пустым, глухим улицам. Я знала, что Бог хранит меня, и со мной ничего не может случиться. Других грабят, других убивают, но меня, я верила и знала, это не касается. Мне кажется, все поэты испытывают это чувство сохранности и присутствия Бога… И Коля, должно быть тоже… Он вам не говорил?

Одоевцева: Нет. Он мне никогда не говорил. Но он был уверен, что его никто не посмеет тронуть, что он слишком знаменит и ничего не боялся.

Ахматова *(разочарованно)*: Ах, это совсем не то! Если бы он испытывал чувство сохранности и Божьей защиты… Спокойной ночи. Я рада, что пошла вас проводить. Такая прелестная ночь. И Коля ведь постоянно ходил по этой длинной улице. Она вся исхожена его ногами.

Одоевцева: Я вхожу в подъезд своего дома, но вместо того чтобы подняться по лестнице, снова выбегаю на улицу. Мне хочется в последний раз увидеть прекрасное бледное лицо Ахматовой. Я уже готова броситься за ними, но вдруг вижу, что их уже не двое, а трое, что справа от Ахматовой идет еще кто-то, тонкий и высокий. Кто-то не отбрасывающий тени. И я узнаю его…

Одоевцева: Низкая комната. Мягкая мебель,
Книги повсюду и теплая тишь.
Вот сейчас выползет черепаха.
Пролетит летучая мышь…
Но все спокойно и просто,
Только совсем особенный свет:
У окна папиросу курит
Не злой и не добрый поэт.

Гумилёв: Я вас ждал. Я знал, что вы сейчас придете.

Одоевцева: Ждали? Но ведь я совсем не собиралась идти к вам. Я шла домой.

Гумилёв *(пожимая плечами)*: Шли домой, а пришли ко мне. Оттого, что мне очень хотелось вас сейчас увидеть. Я сидел здесь у печки и заклинал огонь и звал вас. И вот – вы пришли. Против своей воли пришли.

Одоевцева: Должно быть, я действительно почувствовала. И потому пришла к вам.

Гумилёв: Мне сегодня ужасно тяжело с утра. Беспричинно тяжело. Как я одинок, Господи! Даже поверить трудно.

Одоевцева: Одиноки? Но ведь у вас столько друзей и поклонников. И жена, дочь и сын, и брат. И мать.

Гумилёв: Ах, это всё не то! Это всё декорация. Неужели вы не понимаете? У меня нет никого на свете. Ни одного друга. Друзей вообще не существует. До чего я одинок! Даже поверить нельзя. Я всегда сам по себе. Всегда «я», никогда ни с кем не «мы». И до чего это тяжело.

Гумилёв: ***(немного помолчав, повеселевшим голосом)*:** Вот мне и легче стало. Просто от вашего присутствия. Посмотрел на вас. Такая вы забавная, в особенности, когда молчите. Как хорошо, что вы пришли. Напишите балладу обо мне и моей жизни. Это, право прекрасная тема.

Одоевцева: Нет. Как о вас напишешь балладу? Не могу! Нет!

Гумилёв: Почему? Почему вы не можете?

Одоевцева: Потому, что вы не герой, а поэт.

Гумилёв: А вам не приходило в голову, что я не только поэт, но и герой?

Одоевцева: Нет, нет! Одно из двух: или вы поэт, или герой.

Гумилёв: Что же? Что ж? Не надо, если вы не хотите. А жаль!.. Это, право, прекрасная тема.

Одоевцева: Уже в 1924 году, в Париже, я описала в «Балладе о Гумилёве» этот вечер. Все было так. Совсем так!

На пустынной Преображенской
Снег кружился, и ветер выл.
К Гумилёву я постучала,
Гумилёв мне двери открыл

В кабинете топилась печка,
За окном становилось темней
Он сказал: «Напишите балладу
Обо мне и жизни моей.

Это, право, прекрасная тема».
Но, смеясь, я ответила: «Нет!
Как о вас написать балладу?
Ведь вы не герой, а поэт».

Он не спорил, но огорченье
Промелькнуло в глазах его.
Это было в вечер морозный
В Петербурге на Рождество.

Одоевцева: Хотя мне самой это теперь кажется невероятным, но в те годы настоящим властителем моих дум был не Гумилёв, а Блок.

Гумилёва я слишком хорошо знала, со всеми его человеческими слабостями. Он был слишком понятным и земным. Кое-что в нем мне не очень нравилось, и я даже позволяла себе критиковать его – конечно, не в его присутствии.

В Блоке же все – и внешне и внутренне – было прекрасно. Он казался мне полубогом. Я при виде его испытывала что-то близкое к священному трепету. Мне казалось, что он окружен невидимым сиянием и что, если вдруг погаснет электричество, он будет светиться в темноте.

Блок: В жаркое лето и в зиму метельную,
В дни ваших свадеб, торжеств, похорон,
Жду, чтоб спугнул мою скуку смертельную
Легкий, доселе не слышанный звон.

Вот он – возник. И с холодным вниманием
Жду, чтоб понять, закрепить и убить.
И перед зорким моим ожиданием
Тянет он еле приметную нить.

С моря ли вихрь? Или сирины райские
В листьях поют? Или время стоит?
Или осыпали яблони майские
Снежный свой цвет? Или ангел летит?

Длятся часы, мировое несущие.
Ширятся звуки, движенье и свет.
Прошлое страстно глядится в грядущее.
Нет настоящего. Жалкого – нет.

И, наконец, у предела зачатия
Новой души, неизведанных сил,–
Душу сражает, как громом, проклятие:
Творческий разум осилил – убил.

И замыкаю я в клетку холодную
Легкую, добрую птицу свободную,
Птицу, хотевшую смерть унести,
Птицу, летевшую душу спасти.

Вот моя клетка – стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.

Крылья подрезаны, песни заучены.
Любите вы под окном постоять?
Песни вам нравятся. Я же, измученный,
Нового жду – и скучаю опять.

(Появляется Мандельштам. Он держит карандаш в вытянутой руке, широко взмахивая им, будто дирижирует невидимым оркестром)

Одоевцева: Я сознаю, что здесь сейчас происходит чудо, что я не имею права присутствовать при нем. Я не знаю, как мне уйти отсюда. Только бы он никогда не узнал, что я была тут, что я видела, что я подглядела, хотя и невольно. Я стою в нерешительности. Сумерки все более сгущаются. Так тихо, что я слышу взволнованный стук своего сердца. Надо открыть дверь. Но если она вдруг скрипнет, то я пропала.

Мандельштам *(резко и громко):* Что же вы? Зажгите же электричество! Ведь совсем темно. Что же вы там делаете? Да зажгите же наконец! ***(собирая со стола скомканные листы бумаги и рассеянно сует их в карманы).*** У меня в комнате опять чад. Пришлось сюда спасаться. С самого утра. Который теперь час? Неужели четыре? Хотите послушать новые стихи.

Я слово позабыл, что я хотел сказать,
Слепая ласточка в чертог теней вернется
На крыльях, срезанных – с прозрачностью играть.
В беспамятстве ночная песнь поётся…
О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья аонид…

А кто такие аониды? Кто такие аониды? Знаете?

Одоевцева: Не знаю. Никогда не слыхала. Вот данаиды...

Мандельштам: К черту данаид! Помните у Пушкина: «Рыдание безумных аонид»? Мне аониды нужны. Но кто они? Как с ними быть? Выбросить их что ли?

Одоевцева: А нельзя ли заменить аонид данаидами? Ведь ритмически подходит, и данаиды, вероятно тоже рыдали, обезумев от усталости, наполняя бездонные бочки.

Мандельштам *(возмущено машет рукой)*: Нет. Невозможно. Данаиды звучит плоско…нищий, низкий звук! Мне нужно это торжественное, это трагическое, рыдающие «ао». Разве вы не слышите – аониды? Но кто они, эти проклятые аониды? А может быть они вообще не существовали? Их просто-напросто гениально выдумал Пушкин? И почему я обязан верить вашей мифологии, а не Пушкину.

Одоевцева: Я с вами вполне согласна. Лучше верить Пушкину.

Мандельштам: Я слово позабыл, что я хотел сказать.
Слепая ласточка в чертог теней вернется,
На крыльях, срезанных с прозрачными играть.
В беспамятстве ночная песнь поется.

Не слышно птиц. Бессмертник не цветёт.
Прозрачны гривы табуна ночного.
В сухой реке пустой челнок плывёт.
Среди кузнечиков беспамятствует слово.

И медленно растёт как бы шатёр иль храм,
То вдруг прокинется безумной Антигоной,
То мёртвой ласточкой бросается к ногам
С стигийской нежностью и веткою зелёной.

О, если бы вернуть и зрячих пальцев стыд,
И выпуклую радость узнаванья.
Я так боюсь рыданья Аонид,
Тумана, звона и зиянья.

А смертным власть дана любить и узнавать,
Для них и звук в персты прольётся,
Но я забыл, что я хочу сказать,
И мысль бесплотная в чертог теней вернётся.

Всё не о том прозрачная твердит,
Всё ласточка, подружка, Антигона…
А на губах, как черный лёд горит
Стигийского воспоминанья звона.

Одоевцева: Осенью 1920 года «удивить Петербург» приехал Маяковский.

1-ая Дама: Вы слышали Маяковский приехал?

2-ая Дама: Да, что вы? Сам Маяковский?

Пожилой господин: Сегодня вечером он выступит в Доме искусств.

3-ая Дама: Ах, голубушка, он право, гений. Вам его непременно стоит услышать.

Маяковский: Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плево́чки жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полу́денной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную му́ку!
А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.

Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Народ: Браво! Бис! Бис! Бис!

Одоевцева: Маяковский уехал на следующий день из Петербурга. Между ним и нами, петербургскими поэтами снова встала глухая стена равнодушия и, пожалуй, даже враждебности. Мы не интересовались его новыми стихами, он же открыто презирал петербургских поэтов: «Мертвецы какие-то. Хлам! Все до одного, без исключения…»

Одоевцева: В Риге в 1920 году мне довелось встречаться с Игорем Северяниным. Как-то вечером он зашел ко мне попросить прощение за свое бесцеремонное поведение, и это непроизвольно вылилось в исповедь, наполненную болью и горечью забытого поэта.

Северянин: Вы не выгоните меня? Я уезжаю завтра, но я не могу уехать, если вы не простите меня. Не могу… Поймите, как для меня это ужасно. Дожить еще и до того, что женщина отказалась меня принять!

Одоевцева: Успокойтесь, и раз вы пришли – оставайтесь.

Северянин: Не выгоните? Правда?..

Одоевцева: Снимите пальто и садитесь.

Северянин: Я только на минутку, не задержу вас. Но если позволите… ***(снимает пальто и садится)*** Мне было необходимо видеть вас, я бы просто не мог… Я очень, я страшно несчастен. Вы себе и представить не можете, до чего!

Одоевцева: Я никогда не бывала на ваших поэзовечерах, но знаю, что у вас был невероятный, небывалый успех и я…

Северянин: Да, да. Небывалый, громокипящий успех. Уличное движение останавливали, когда я выступал в зале под Думской каланчой. А в Керчи, в Симферополе, на Волге лошадей распрягали, и поклонники на себе везли меня, триумфатора! Страшно вспомнить, какое великолепие. Купчихи бросали к моим ногам на эстраду бриллиантовые браслеты, серьги, брошки…

До чего чудесно было! Сказки из «Тысячи и одной ночи». Даже еще чудесней! Сологуб возил меня по всей России, и всюду вечный праздник, беззакатное торжество! На меня, как из рога изобилия сыпались цветы, слава, влюбленные женщины… Если бы я тогда копил деньги, я бы сейчас

был богатым человеком. Но я деньги безрассудно отдавал другим, себе брал только славу. Но и она оказалась, как все в моей жизни, чертовыми черепками. Все обмануло, все погибло – все!.. Подумать страшно, – я живу нахлебником у простого эстонского помещика. Только оттого, что женился на его дочери. Я для него не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это он меня кормит. Ему лестно. А я ловлю рыбу. И читаю свои стихи речным камышам и водяным лилиям. Больше ведь некому. Кругом глушь, мужичье. Ночью я часто сажусь в лодку и выезжаю на середину реки. Звезды отражаются в воде, камыши так мелодично шуршат, как аккомпанемент моим стихам. Я читаю и сам слушаю свой голос и плачу…

Одоевцева: Игорь Васильевич, я никогда не слышала, как вы читаете свои стихи. Если вы не торопитесь, почитайте мне, пожалуйста.

Северянин: Неужели не слыхали?.. С огромной радостью… Сколько хотите… Сколько хотите! Что вам прочесть?

Одоевцева: «Это было у моря».

Северянин: Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж…
Королева играла – в башне замка – Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил её паж.
Было всё очень просто, было всё очень мило:
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила вся в мотивах сонат.

Одоевцева: Мне действительно везло в жизни, я встречала много удивительных и замечательных людей. И вот однажды в Берлине, у Ферстера, в знаменитом русском ресторане тех баснословных лет, – месте встреч всех эмигрантов, мне выпал счастливый случай встретить Сергея Есенина. И показался он мне совсем не хулиганом-скандалистом, а трогательно нежным, «нежности нежней». Просто, по Маяковскому, «не мужчина, а облако в штанах». И до чего очаровательным!

(Одоевцева под руку с Оцупом идет между столиков, навстречу им вскакивает Есенин, роняя стул)

Есенин: ***(хватает руку Оцупа и трясет ее)*** Оцуп! И вы тут! Вот здорово! Идем, идем скорее к нам. С девушкой вашей, идем!

Оцуп: Здравствуйте, Сергей Александрович. Мы собственно хотели пообедать. Рад вас видеть Есенин!

Есенин: ***(властно берет Одоевцеву за локоть)*** Идем! ***(подведя*** Одоевцеву ***и Оцупа к своему столику, звонко)*** Будьте знакомы! Это Оцуп! Николай Оцуп, цеховщик и стихотворных дел мастер. А эта девушка, ***(делает кивок в сторону Одоевцевой)*** не знаю кто такая. Впервые вижу.

Оцуп: Ирина Одоевцева!

Есенин: ***(взмахом руки указывая на всех сидящих за столом)*** А это моя кувырк-коллегия. Nomina sunt odiosa. Да настоящих имен среди них еще

и нет. Но со временем, как научили, все они – так – или иначе – прославятся. В разных областях, конечно, кто в литературной, а кто в уголовной. ***(Садясь на стул, обращаясь к соседу)*** Сократись! Уступи место Ирине Одоевцевой! А вы Оцуп, не девушка – сами устраивайтесь и заказывайте все, что хотите. ***(обращаясь к Одоевцевой и внимательно ее разглядывая)*** Вот вы какая. Не думал, что вы такая.

Одоевцева: ***(насмешливо)*** Мне очень жаль, что я «не такая». Но ничего не поделаешь! Такая как есть, а не другая.

Есенин: ***(добродушно смеясь)*** Ну, жалеть-то тут не приходиться. Скорее наоборот. Вы все об извозчиках и солдатах пишите. Я и полагал: мужеподобная, грубоватая. А на вас я как посмотрел, так и вспомнил свою же строчку: «О верю, верю, счастье есть».

Одоевцева: Вы цитируете самого себя. Никто о тебе не позаботится так же хорошо, как ты сам? Так ведь?

Есенин: Вы знаете, мне кажется, что мы с вами давным-давно знакомы.

Одоевцева: Конечно, мы с вами встречались на углу Хеопсовой пирамиды. Отлично помню.

Есенин: Бросьте, бросьте. Оставьте эти петербургские штучки вашим кислым эстеткам. Вам они совсем не к лицу. Так выражалась Ахматова, а злая оса Гиппиус, та еще больнее жалила. Сколько они мне крови испортили! Потом, конечно, тоже были готовы хвостиками вилять, когда я прославился. А сначала все, кроме Блока и Городецкого, меня в штыки приняли. Особенно это воронье пугало Гумилёв. Холодом обдавали заморозить хотели. ***(наливает Одоевцевой рюмку водки).***

Одоевцева: Не пью.

Есенин: Напрасно! Вам необходимо научиться. Водка помогает.

Одоевцева: От чего помогает?..

Есенин: От тоски. От скуки. Если бы не водка и вино, я уже давно смылся бы с этого света! Еще девушки, конечно. Влюбишься, и море по колено! Зато потом, как после пьянки, даже еще хуже. До ужаса отвратительно. ***(немного помолчав)*** Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства дружил. Вы хорошо сделали, что ввели свою обмызганную лошадь в рай. Крестьяне животных совсем не понимают. Как они грубы и жестоки с ними. Ужас! А я их всегда любил и жалел.

(Есенин вскакивает на стол и начинает читать стихи)

Я обманывать себя не стану,
Залегла забота в сердце мглистом.
Отчего прослыл я шарлатаном?
Отчего прослыл я скандалистом?

Не злодей я и не грабил лесом,
Не расстреливал несчастных по темницам.

Я всего лишь уличный повеса,
Улыбающийся встречным лицам.

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.

Каждая задрипанная лошадь
Головой кивает мне навстречу.
Для зверей приятель я хороший,
Каждый стих мой душу зверя лечит.

Я хожу в цилиндре не для женщин –
В глупой страсти сердце жить не в силе,–
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

И теперь уж я болеть не стану.
Прояснилась омуть в сердце мглистом.
Оттого прослыл я шарлатаном,
Оттого прослыл я скандалистом.

(Появляется лакей, на тарелке подносит счет)

Есенин: ***(внимательно изучив счет)*** Э, нет, врешь! Не проведешь! Никакого омара никто не требовал. Не было омара!

Лакей: ***(неуверенно)*** Извиняюсь. В конце стола тот господин, кажется, заказали-с.

Есенин: Врешь! Шашлык они заказали-с, шашлык-с! И он тут помечен ***(достает из кармана карандаши вычеркивает омара).*** И шампаней не семь, а шесть бутылок.

(Есенин расплачивается, все встают и направляются к выходу)

Есенин: Айда! Едем в Аделон, к Айседоре! Она рада будет – заждалась меня. Едем!

Звучит шумная музыка, свет гаснет, только на столе горит зажжённая лампа.